

Muriel Spark

A FAR CRY FROM  
KENSINGTON

Мюриэл Спарк

КЕНСИНГТОН,  
КАК ДАВНО  
ЭТО БЫЛО

РОМАН

*Перевод Елены Суриц*

МОСКВА «ТЕКСТ» 2019

УДК 821.111  
ББК 84 (4Вел)  
С 71

ISBN 978-5-7516-1542-0

A FAR CRY FROM KENSINGTON

© Copyright Administration Ltd, 1988

© Е. Суриц, перевод, 2019

© ИД «Текст», издание на русском языке, 2019

# 1

День гудел и звенел так надсадно, что уж ночью, бывало, лежу без сна, слушаю тишину. И потом засыпаю, довольная, до краев налитая беззвучием, вдоволь насладившись опытом темноты, немоты, мыслей, памяти, сладких предчувствий. Наслушавшись тишины. И обзавелась я этой милой привычкой — смаковать бессонницу — тогда, тогда, в начале пятидесятых. А чем она вам плоха, бессонница... Лежи себе ночью без сна и думай, и твоя бессонница заполнится тем, о чем ты решишь думать. Но разве можно решить, о чем думать? А как же! Хочешь — упорно целься мыслью в одну точку. А хочешь — сиди себе мирно перед погасшим экраном, тупо пялясь в пустоту, и рано или поздно создашь собственную программу, уж приличней массовой продукта. Забавно, кстати, рекомендую попробовать. И поме-

шай на этот экран кого захочешь, поодиночке, гурьбой, и пусть говорят, пусть делают все, что тебе заблагорассудится, и ты собственной персоной предстанешь в центре картинки, если угодно.

Вот и лежу, бывало, ночью без сна, гляжу в темноту, слушаю немоту, гадаю о будущем, подбираю оброненные обрывки прошлого, упущенные за недосугом, те, отринутые события, — и они выступают на первый план, одолев даль и давность, большие, важные, и груз судьбы уже не пригнетает текучку дневных дел. (Кто хоть день проживет без текучки дел? Ну? Так зачем на них тратить ночи?)

Да уж, и частенько ночью у моего изголовья дежурят ранние пятидесятые и тот, давний Кенсингтон. Но до сих пор, стоит мне вернуться в Лондон, расплатиться с такси, поздороваться с встречающими, позвонить знакомым, открыть почту, — и ночью снова обстанет меня моя бессонница, и вспомнится мне Кенсингтон, прежний Кенсингтон, Олд-Бромптон-роуд, Бромптон-роуд-Оратори, как все это было давно. Мои нынешние ночные мысли часто вьются вокруг прежних мыслей, как давняя дневная жизнь влияет на то, что делаю теперь.

Был тысяча девятьсот пятьдесят четвертый год. Я жила в мебелирашках в высоком

доме по Саут-Кенсингтону. Как-то, несколько лет назад, я, помню, вздрогнула, услышав от одного знакомого «меблирашки у метро “Саут-Кенсингтон”, где ты жила». Тотто взвилась бы Милли, хозяйка, посмей кто при ней назвать ее дом — меблирашками, хоть, боюсь, по справедливости иначе его и не назовешь.

Милли тогда была шестидесятилетней вдовой. Теперь ей хорошо за девяносто, но — Милли есть Милли.

Дом, связанный общей стеной с соседним, отстоял от него независимой частью не больше чем на три шага. По обеим сторонам улицы было по восемнадцать домов, совершенно неотличимых. Чугунные литые ворота открывались на коротенькую тропу с гравийной проплешиной посередине и цветочными бордюрами по краям, и тропа эта под конвоем крапчатых вязов бежала к двустворчатому парадному с витражами. У каждого жильца Милли Сандерс был свой ключ от двери парадного, и вела она в небольшую прихожую. Милли сама занимала нижний этаж. Направо, как войдешь, была вешалка с зеркалом, крючки для пальто, стойка для зонтов, и тут же примостился на полочке телефон. Налево была парадная комната Милли, с эркером, — исключительно для

посетителей. Лестница посредине взбегала к площадкам жильцов, а налево от нее коридорчик аппендиксом вел к комнатам Милли — гостиная, кухня, спальня, а к ней примыкала теплица, — и в тылу дома был сад, для лондонского дома большой, вполне даже приличный. Строились эти улицы давненько, еще для купеческих семейств, в девятнадцатом веке.

Выше, на втором этаже, была ванная, и две комнаты сдавались двум одиночкам, одна — семейной паре. Эта была побольше, в ней тоже был эркер и смежная кухня. Пара была бездетная, обоим под сорок: Бэзил Карлин и Ева, жена. Ева работала неполный день воспитательницей в детском саду, Бэзил, по собственному определению, был «инженерно-технический персонал». Исключительно тихие люди. Как запрутся у себя, так от них и не слышно ни звука, даже за полночь, когда все естественные шумы дня затихнут до нового утра.

Рядом с Карлиными была большая комната с окнами в сад. Там были умывальник и газовая горелка, и при ней темный газовый счетчик с прорезями для пенсов и шиллингов. В этой комнате жила и работала Ванда, полька-портниха, у которой стремление пострадать граничило с ненасытностью.

У Ванды Подолак было щедрое сердце, но во всей своей прожитой жизни она не признавала ни единой минуты счастья. К ней без конца таскались, среди прочего народа, клиентки — «мои дамы», она называла их, под шумок разговора прилаживая на них платья (обвод талии, обвод бюста), и друзья-поляки, причем кое-каких друзей она зачисляла в ряды врагов. Большинство гостей заявлялось после своего рабочего дня, с шести часов вечера и позже, и клиентки пропускались вне очереди, а уж друзьям (и врагам) приходилось томиться на лестнице, пока не завершится обряд примерки. Потчuya гостей чаем, Ванда не оставляла шитья, и жужжанье швейной машинки оттеняло сдобное пришепетывание поляков-мужчин, подмешивалось к шелесту женских согласных, к звяканью чашек о блюдца. И тому, кто шел мимо Вандиной двери, польская речь от этого казалась уж очень зазывной, загадочной.

Комнатушку в дальнем углу второго этажа занимала Кэйт Паркер, двадцатипятилетняя окружная сестра милосердия, маленькая, пухлая, смуглая, она посверкивала по сторонам агатовым, птичьим взглядом и белоснежной улыбкой. Кэйт была кокни. Она прямо-таки лучилась решимостью да и была, конечно, не робкого десятка. Вечерами



Кэйт чаще отсутствовала: шла в гости, задерживалась на работе, — но, если останется дома, со всем своим пылом бросалась на уборку жилья. К чистоте в своей комнате она предъявляла самые строгие требования, да и не только в своей; заглянув к вам на чашечку чая или, скажем, температуру померить, она замечала учтиво: «Молодцом, здесь так приятно и чистенько». Отсутствие похвалы означало, что вы развели у себя стыдобу. Бациллы, эти исчадья ада, ох, она ненавидела их всей душой. И соответственно, как выдастся свободный вечерок, Кэйт, бывало, выволакивает на площадку всю мебель и оттирает свой линолиум деттолом. Попадется под руку чужая мебель — тоже подвергнется обработке дезинфекцией, если только не принадлежит хозяйке. Милли, хоть и умела терпеть, не выносила, чтобы ее стола, стульев, кровати — хоть только касалась бы тряпка, пропитанная этой дрянью; с меня и того довольно, она поясняла, что дом пропах больницей из-за этой ее дури. Она преподнесла Кэйт немного воска с духом лаванды для протиранья мебели. И теперь не только по грохоту мебели, выволакиваемой на площадку, но и по сложносмешанной вони лаванды с карболкой вы мигом обнаруживали, что Кэйт сегодня вечером дома. Кэйт клялась,

что, когда поднакопит денег и заживет в своем собственном доме, она все обставит белым крашеным деревом, и чтобы все было «моющее». Что же касается накоплений, тут она была исключительно скрупулезна, чем и гордилась. Накопления отправлялись на почту. А на полке у нее по разным коробочкам распределялись деньги на текущие расходы. И на всех надписи: «электричество», «газ», «транспорт», «обеда», «телефон» и «прочее». Прежде чем улечься в постель после возни и уборки, Кэйт с величайшим тщанием, бывало, отманикюрит ногти. Аккуратнейшим образом развесит одежду на завтра. Иногда перед сном хлопнет стаканчик хереса или виски, предварительно вздохнув так торжественно, так тяжело, что всякому ясно: и не хочется, да надо рюмочку пропустить, не то мало ли что может случиться.

А этажом выше, в чердачной комнате со скошенным потолком жила я. Здесь были изначально установлены плита и раковина, потом уже в уголку притулился душ, и у самой застрехи был низкий, глубокий чулан.

На этом этаже был общий сортир и жили еще двое: юная Изобел, у которой прямо в комнате был свой собственный телефон, благодаря чему она каждый вечер звонила в Сассекс, папочке, и только на этом усло-

вии была отпущена в Лондон, на секретарскую должность. Случалось, что Изобел на весь вечер повиснет на телефоне, разговаривая не только с папочкой, но с обширным кругом друзей, и голос ее журчал и переливался сквозь стены, заодно и нас посвящая в подробности за день пережитых ею передряг.

Другая чердачная комната, еще меньше, выходила во двор. И жил там студент-медик Уильям Тодд, выдававший свое присутствие исключительно посредством радио, обыкновенно настроенного на классическую музыку по третьей программе. Под музыку, он объяснял, ему сподручнее заниматься.

Случалось, ко мне приходили гости, выдавая мое присутствие. В прочие же вечера, пусть и торчала дома, я вела себя тихо, как мышь. Собственно, когда торчала дома, я все больше спускалась вниз, поболтать с Милли. Правда, у Милли внизу почти всегда стоял грохот, стук, скрежет, из-за мелких починок и ремонтных работ по дому, производимых мистером Туинни, жившим неподалеку. Мистер Туинни приходил к нам стучать, скрежетать, грохотать после собственного рабочего дня — потому, объясняла Милли, что на разных поденщиков денег не напасешься. Мистер Туинни обклеивал стены обоями,

предварительно распростирая их навзничь на верстаке, Милли готовила смесь из муки с водой, приносила мистеру Туинни клейкую массу, и тот ее шлепал на испод обоев. А случилось, он прочищал засор, Миллин телевизор вторил звяканью инструментов, а я сидела себе и смотрела, и прихлебывала чаек.

Как и все в доме, как и все у меня на работе, Милли никогда меня не называла по имени. Я была молодая, всего двадцать восемь лет, но все называли меня миссис Хокинз. В ту пору это мне представлялось таким естественным, это было так естественно для окружающих, что я и не думала с кем-нибудь по этому поводу качать права. Я была вдова павшего на войне, миссис Хокинз. Это было широко известно. Все было широко в моем облике. Я была крупная, мощная — неохватные бедра, державный бюст, веское пузо, откляченный зад; при хорошем росте я легко носила свой вес и на здоровье не жаловалась. Возможно, эта моя обширность у многих вызывала доверие. Я была с виду уютная. С фотографий тех лет поглядываю сонным глазом, лицо как полная луна плюс два объемистых подбородка. Снимки черно-белые. Будь они в цвете, то передали бы Рубенсово свечение моей плоти, моей

кожи и глаз. И я была миссис Хокинз. Только потом уже, когда решила худеть, я стала замечать, что мне как-то реже поверяют свои печали — все, и мужчины, и женщины. Кстати, скажу вам по секрету, что, если у вас нет иных забот, кроме лишнего веса, скинуть его — пара пустяков. Ешьте и пейте себе на здоровье все как всегда — только вдвое меньше. Подали вам блюдо, половину оставьте, положили себе еды, съешьте половину. Спустя некоторое время, если вы стремитесь к совершенству, переполовинивайте уже и эти вдвое убавленные порции. Относительно же силы воли, если она вас волнует, следует помнить, что никакой силы воли нет в настоящем времени, она существует только в прошедшем и будущем. В какой-то момент вы решили: сейчас я что-то сделаю, или — я воздержусь, — а в следующий, глядишь, вы уже что-то сделали или вы воздержались. (Только при нечеловеческом давлении сила воли может выбиться в настоящее время, но это уж совсем другая история.) Даю вам этот совет совершенно бесплатно; он включен в цену книги.

Как бы там ни было, а в тысяча девятьсот пятьдесят четвертом году я прекрасно себя чувствовала при своей толщине и все называли меня «изумительной женщиной», хоть я

отроду ничего изумительного не совершала. Вокруг были довольны моей широтой (обширностью) и для всех одинаковым снисходительно-материнским взглядом. Одна молодая особа, постарше меня, я прикинула, однажды вскочила в автобусе, уступая мне место. Я отнекивалась. Она наседала. Наконец, сообразив, что она приняла меня за беременную, я вежливо снизошла. Все меня любили. Я была миссис Хокинз.

Между одиннадцатью вечера и полночью дом постепенно стихал и наконец замирал совсем. Изредка в соседнем доме молодой уроженец Кипра, «продавец», как сам он обозначал род своей деятельности, и его жена-англичанка со своячницей решали спуститься во двор поскандальить, то есть «слегка выяснить отношения», как сами они выражались, являясь с повинной поутру. Выяснения тянулись всю ночь, зато были редки. В полночь обыкновенно в последний раз проурчит спускаемая в толчке вода.

— Это Бэзил, — скажет Милли.

И дом засыпает.

Я лежу в постели и вбираю в себя тишину. Тишина подлинная и полная, она тешит мой слух, тем более что во внутрен-